

«Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш. ... Возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои».

(Ис. 40: 1-2)



«Народ - венец земного цвета
Краса и радость всем цветам:
Не миновать Господня лета
Благоприятного - и нам».

А. Блок.

ЖИВОЕ СЛОВО

ВОЛОТОВОЕ ЗЕРНО

ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

Окончание.
(Начало в № 6)

Козловский появлялся, и около машин начиналось движение. Все рассказывались. Кроме нас, так сказать, самостоятельных участников концертов, но тоже невольно игравших роль как бы свиты при главном действующем лице, была у Ивана Семеновича и своя непосредственная свита: аккомпаниатор на пианино, молодая, милая женщина, с которой певец находился в постоянной шутильной пикировке, аккомпаниатор на скрипке, певец для дуэта, местные люди, которым поручено сопровождать, организовывать, обеспечивать.

Все это рассаживалось по машинам. Впереди черный «ЗИМ», сзади четыре «Волги».

Однако поезд не трогался с места, шла там, во флагманской машине, какая-то «торговля», и я догадывался — какая. С самого начала Козловский высказал желание (всегда настаивал на нем), чтобы я и моя жена ехали с ним в голове колонны. Мы ловчили и увливали от этой почетной обязанности вовсе не потому, что нам было бы неприятно или неинтересно, но, во-первых, потому что еще не сложилось той легкой непринужденности, когда можно и помолчать и не будет это молчание неловким и тягостным, а во-вторых, Иван Семенович, боясь за свое горло, ездил с поднятыми стеклами, и было душновато, и нелзя было по своему усмотрению опустить стекло.

Но машины не трогались с места, и все ждали, и приходилось смиряться.

— Вы знаете молодого поэта Семibrатова (фамилия условная)? — спрашивал, например, Козловский.

— Нет. А чем он хорош, что вы запомнили его имя?

— Своеобразный человек, оригинальные убеждения. И характер. Ну, как вам сказать? У меня в квартире телефон, а жить надо. Вполне понятно, что я не всегда подхожу к трубке. Бывает, что директор консерватории. Ну и что. Вы — директор, а мы тоже... И так, вот одно то, что этот молодой человек до меня

все-таки дозвонился... Нет, вы познакомьтесь с ним, он будет вам интересен.

Иван Семенович говорил всегда тихо, вовсе не напрягая и не утомляя своего голоса. Слушая его тихий разговор, казалось странным, что в том же горле, производящем эти глуховатые, серые, пожалуй даже бесцветные звуки, может возникнуть по желанию владельца могучий, высокий, чистый радостный звук, который не похож ни на какие другие звуки и который называется в человеческом обиходе голосом Ивана Семеновича Козловского.

Причем сильный вовсе не значит — оглушительный, громкий. В одном гостеприимном доме километрах в пятидесяти от Пскова, обогреть коньячком, все пустились в самодеятельность, и одному певцу удалось совратить Козловского на дуэт. Должны были петь хорошую песню «Что затуманилась, зоренька ясная» — коронный номер певца, как выяснилось потом во время концертов.

Трудно сказать, что сыграло свою роль: вечная ли тень, в которой приходится пребывать рядовому певцу вблизи певца выдающегося, неожиданная ли возможность взять реванш сразу за все предыдущее и последующее и доказать одним махом, просто ли нервы, но певец вдруг запел так оглушительно и пронзительно, что Козловский тотчас сжал губы и дуэта не получилось.

Да, теперь незадачливый певец мог бы похвастаться, что заглушил Козловского, преодолел, перевалил его, но он не мог бы похвастаться, что пел вместе с Козловским, что их голоса слились, поддержали друг друга, обогатили и украсили.

(Почему я пишу о нем «мог бы»? Он оказался душевным человеком, и мы за эти дни подружились. Чувствовал он себя неважно. Все время обливался потом, жаловался на сердце, боялся выпить рюмку, которую в конце концов все-таки выпивал. В концертах, несмотря на плохое самочувствие, участвовал. Мы обменялись телефонами. Каково же было мое потрясение, когда, позвонив некоторое время спустя, я узнал, что Вильнис умер от инфаркта через несколько дней по возвращении из нашей поездки. Видимо, он уже носил в себе, по крайней мере, микроинфаркт, что делает его гастроли «лебединой песней» и, конечно, накладывает дополнительный трагический оттенок на несостоявшийся злополучный дуэт.)

Несколько дней мы ездили по Новгороду и окрестностям, перезнакомились, подружились до той степени,

когда появляются общие шуточки, общие объекты шуток, общие каламбуры, когда не надо объяснять, почему Ивана Семеновича мы называем между собой Семеном Ивановичем.

Наступил день концерта. Конферанс вел артист местного драматического театра. Я, право, не помню теперь его полного имени. Среди нас он был просто Мишей. Выступали певцы и певицы, выступали скетчисты и чтецы, выступали скрипачи и поэты, но все понимали, что зал битком не ради флейтиста Градова (фамилии условны), не ради арфистки Барцевой, не ради чтеца Калугина, но ради московской и мировой знаменитости, обозначенной на афише большими красными буквами, распростертыми над двумя столбцами остальных мелких букв.

И прошло первое отделение концерта и прошла добрая треть второго отделения, когда Миша решительно подошел к рампе и все почувствовали, что наступил тот самый момент.

— Выступает... — Миша, делая короткие, но многозначительные паузы после каждого слова. — Солист... Государственного Большого... академического театра... — голос Миши все набирал и набирал звонкость, — народный артист... Советского Союза... Лауреат Государственных премий... — Миша сделал паузу больше и многозначительнее предыдущих пауз, набрал полную грудь воздуха и торжественно, четко провозгласил: — Семен Иванович Козловский!

Зал оглушительно взорвался аплодисментами, и то, что кто-то из наших прямо-таки по-пороссячи завизжал от восторга, и кто-то другой из наших начал сползать с кресел, не имело для зала никакого значения. Публика едва ли заметила оговорку Миши (весь концерт он только и думал о том, как бы не ошибиться, потому и ошибся), а если кто и заметил, то пока хотел на секунду усомниться в себе (неужели Семен Иванович?), аплодисменты уже гремели.

Козловский вышел на сцену во фраке, в ослепительной манишке, вышел как ни в чем не бывало и только во время всего концерта смотрел сквозь бедного Мишу, как будто тот был прозрачен или как будто его вовсе не было. А между тем общаться на сцене им было необходимо, ибо приходилось Мише подходить к певцу и подставлять ухо, а певец должен был в это ухо шепнуть название следующего номера.

Зал онемел. Активисты Новгорода, получившие билеты через свои учреждения и организации, ответ-

ственные работники, жены ответственных работников, служащие ателье и продовольственных магазинов, парикмахерши и работники Горпита, представители заводской интеллигенции и речного хозяйства, автобаз и строительно-монтажных управлений, сельхозтехники и ремонтных мастерских, музейные работники и врачи, библиотекари, педагоги и аспиранты, бывшие работники, а теперь пенсионеры сидели не шевелясь в ожидании первой ноты, первого звука голоса, знакомого им с детства по радио, патефононам и проигрывателям.

Семидесятилетнему человеку (если предстоит петь почти целое отделение) не зорно думать о распределении сил. Первая музыкальная фраза вместе с волшебными словами «Я помню чудное мгновенье» возникли почти из шепота. Но все равно и шепот был слышен в самых отдаленных уголках большого зала, и только к концу романа певец позволил себе прибавить немного голоса, но зато какой из этого получился эффект! Слово чистое пламя просверкнуло в красноватом дыму.

Следующий романс — «Белеет парус одинокий» — пелся уже погромче. Потом мы увидели театрализованное представление, и нам стали понятны репетиции Ивана Семеновича, на которые он тратил каждый день утренние часы. Оказывается, он пригласил для участия в концерте четырех девочек из местной музыкальной школы, четырех юных скрипачек. На сцене стало темно. Один луч освещал исполнительницу, другой — Козловского в дальнем углу сцены, черно-серебряного, с руками, скрепленными на груди. Четыре скрипки запели булаховский романс, и каждый про себя подставлял под льющую музыку известные всем слова: «Гори, гори моя звезда, звезда любви приветная...»

Скрипки пели протяжно и долго. Козловский слушал и вдруг опустился на колени и протянул руки в сторону музыки. То ли перед поющими скрипками преклонился он, то ли перед расцветавшей молодостью, то ли перед великим романсом, но продолжалось все это еще довольно долго, пока наконец совсем незаметно, но постепенно нарастая и беря власть, беря верх над четырьмя скрипками, не возник голос и самого коленапреклоненного певца и никто не успел еще вполне послушаться, как все потонуло в грое аплодисментов.

Девочки стояли растерянные и самые счастливые на всем земном шаре. Козловский подошел к ним и к каждой прикоснулся каким-нибудь ободряющим жестом, дотронувшись до волос, до щеки, пожав руку. Теперь уж как бы ни сложилась судьба, через тридцать, через сорок лет, в минуту обиды и счастливых воспоминаний, каждая из них скажет кому-нибудь:

«Милочка, я на скрипке аккомпанировала Козловскому, когда мне было 12 лет!»

Занавес шел и шел. Козловский бисировал. А я слушал и думал с горечью: неужели, несмотря на все безрежение, на рубашки со специальными гигиеническими воротничками, на опущенные стекла в автомобиле, на весь ответственный образ жизни, неужели семьдесят лет и настоящего Козловского я услышу теперь только в грамзаписи, да и то если не заиграет пластинка и в отличном состоянии корундовая игла?

На другой, послеконцертный день мы с Козловским, отделившись от остальной группы, поехали в Юрьев монастырь.

Некогда богатейшая, процветающая под золотым покровительственным дождем Орловой-Чесменской, опекаемой, в свою очередь, архимандритом Фотием, Юрьева обитель теперь бездействовала, была пуста. Ни сказочных сокровищ (например, иконы «Знамение», вырезанной на огромном изумруде), ни монашеского чина, ни монастырских трапез, ни больших ектений, ни громадных дьяконов, ни колокольного звона, расплывавшегося над Ильмень-озером не на двадцать ли верст...

Теперь была лишь ровная, зеленая травка, а на ней белокаменная постройка. Монастырская стена с башнями, посередине грандиозный, второй после новгородской Софии, Георгиевский собор. Так умерший человек все еще сохраняет для живых, смотрящих на него, черты похоти и все как будто осталось прежним: и нос, и подбородок, и руки, но к чему нам обманывать самих себя, человек мертв и холоден, и внешнее подобие его есть самая вопиющая ложь.

Пожилая женщина, гремя ключами, открыла нам Георгиевский собор, и мы вошли в холодное, настоявшее пространство, ограниченное высоко вверху расписным куполом, а справа от нас иконотасом высотой не с восьми ли этажный дом?

Ключница осталась внизу, а мы по тесной винтовой лестнице поднялись на хоры. Наверное, они соответствовали четвертому, а то и пятому этажу, но и над ними было много еще высоты: добрая половина иконотаса, против которого мы стояли, а выше иконотаса купол, а выше купола пустой барабан — одного его хватило бы на небольшую церковь.

Мы стояли на хорах одни, и не было во всем соборе ни души, ни живого духа. Внизу должна была оставаться еще и ключница, но мы ее не видели, и она как бы не существовала для нас.

Молчали мы каждый о своем, но, надо полагать, что во многих местах молчание наше совпадало, а тишина собора способствовала ему и даже, кто знает, — направляла его в нужную сторону.

И вот тишина поплыла как перетянутая струна, но только без надрывного струнного звука, но тотчас другая живая и крепкая струна зазвучала и мгновенно наполнила звучанием весь огромный собор. Волна восторга расплеснулась во мне от сердца к глазам и горлу. «Ныне отпущаеши...» Рахминовский вариант известного песнопения был взят сразу и во всю силу «Раба, Твоего, Владыко...» Акустика ли собора способствовала впечатлению, сама ли необыкновенная минута, необыкновенное душевное настроение, но, может быть, Козловский никогда еще в жизни не пел так красиво и вдохновенно... — «по глаголу Твоему... с миром... яко видеста очи мои спасение Твое...»

Если правда, что аудитория вдохновляется, то что же за аудиторию держал сейчас певец перед полузакранными глазами своими. Голос его лился золотым ослепительным светом, и камни собора, разбуженные и ожившие, каждой песчинкой резонировали ему. «Еже еси уготовал пред лицем всех людей свет во откровение языков...»

Внизу старуха с ключами плакала и бросилась было в ноги певцу, но Козловский поднял её и успокоил, погладив по плечу:

— Ничего, ничего, бабуся. Запри за нами. Спасибо тебе. Мы пойдем.

...Вот жизнь и подарила мне одно из самых своих лучших впечатлений, из таких впечатлений, которые лежат в памяти золотыми зёрнами и которых, вообще-то говоря, накапливается за жизнь не так уж много.

Но, извлекая на свет, напоказ людям, каждое такое зерно, приходится все равно извлекать весь колос многих, сопутствующих ему впечатлений, хоть и знаешь из практики молотьбы, что большая часть объема колоса — простая мякина.

...Вечером снова был концерт, и Миша не ошибся на этот раз, и Козловский снова пел разные романсы, и новгородские рабочие и служащие снова яростно аплодировали ему.

